

ГОРЬКИЙ

№ 40-летнему юбилею

I

40 лет литературного творчества большого писателя всегда создают на всенно растущей карте мировой культуры горы большой массив.

Такой горный кряж может быть ошебен как целое лишь на известном расстоянии.

Результаты писательского труда Максима Горького во всем его значении для нашей эпохи и для всей совокупности русской и общечеловеческой культуры относительно место его во всей богатой карте завоеваний человеческого гения станут совершенно ясными не так-то скоро. Тем более, что горьковский горный массив еще далеко не закончен и мы надеемся еще многие годы видеть его дальнейший прекрасный и исполинский рост.

Но все же 40 лет, это—много. Когда проработавший 40 лет человек с того места своего жизненного потока, куда принесли его годы, сам оглядывается назад,—он видит длинную извилистую реку, истоки которой рвутся уже как история, а вся узорная лента приобретает целостный смысл, который такому человеку хочется пронести и утвердить для себя, а иногда и для других.

Каждому, приблизительно по истечении 40 лет, Гете, например, почувствовав над непреодолимую потребность самому донять и другим рассказать, чем собственно были его жизнь и творчество.

Я не знаю, есть ли сейчас у Алексея Максимовича такая потребность подвести предварительные и временные итоги прожитому и сделанному. Автобиографическая жилка у него от-

нюдь не отсутствует, и ей мы обязаны несколькими книгами, поистине являющимися гордостью русской литературы.

Нет недостатка у Алексея Максимо-вича и в ретроспекции, что такое грандиозное здание «Клим Самгин», как не совершенно своеобразный панорамический итог воспоминаний за несколько десятков лет?

Но мы не можем ждать, пока Горький сам напишет свою «Dichtung und Wahrheit».

Бьет золотой колокол славного 40-летнего юбилея и напоминает нам, литераторам и критикам великой марксистско-ленинской школы, что у нас еще нет настоящей работы, которая дала хотя бы серию точных и четких фотографий 40-летнего горьковского массива со всех главнейших точек зрения.

Такая работа должна быть написана. Она должна быть написана скоро. Индивидуально или коллективно,—не знаю. Во всяком случае подготовительные работы уже имеются.

Далека от меня мысль в этой статье, невольно выходящей из узких газетных рамок, дать хотя бы абрис, хотя бы эскиз этой, в свою очередь, предварительной марксистской книги о Горьком.

Здесь я только указываю рукой на горизонт, где над дугами и лесами над уровнем моря поднимается могучий горьковский массив. Здесь я только указываю бегом на его живой фундамент, на те стихийные породы, из которых он «вырос».

Здесь я только черчу читателю линию, которая позволила бы ему различить профиль кряжа между облаками, в которых он теряется.

Великие литературные явления, многочисленные писательские личности, в громадном большинстве случаев, может быть, исключительно появляются в результате больших общественных сдвигов, социальных катастроф. Литературные шедевры знаменуют их собою.

Ленин в гениальных своих работах о Толстом, которых не должен упускать из виду никогда ни один марксист-литературовед или критик, сразу определил основную стихийную общественную, неустрашимую причину появления Толстого, всего Льва Толстого, гениальность его таланта, его всероссийского и всемирного успеха, бессмертность его художественных достижений, убеждения его философских и общественных мыслей в одном и главном — в той колоссальной катастрофе, которая страдала тогда над Россией. Старая, крестьянско-барская Русь в смертных муках умирает под прессом беспощадно наступающего капитала.

Героем к несчастью, пассивным героем этой страшной, слезами и кровью облитой драмы был русский крестьянин.

Накопалась мировая туча слез, горя, вздохов, разорения, воплей отчаяния и гнева, страстных, разрывающих недоумений и исканий выхода, черным маршмаром встал над всей страной багровый знак вопроса: где же правда?

Терзая деревню, этот кризис резко ударил по усадьбе. Она тоже получила прободу и пошла ко дну. Все старые устои заколебались, как вещи при землетрясении.

И нашелся человек, по происхождению своему, воспитанию, культурному уровню, тонкой восприимчивости и дару писанного слова оказавшийся способным превратить в художественные образы крестьянское горе и крестьянское недоумение. То обстоятельство, что это был барин, что поэтому в произведениях Толстого при их доминирующем мужиковствующем духе, при полном господстве над всем внутренним миром графа вопроса о страданиях мужика было также не мало элементов дворянского порядка, не побудило орлиный взор Ленина затеяться в дебри на поверхности характеристик Толстого как писателя дворянина. Нет, не из дворянства исходил огненный революционный дух Толстого, сметавший троны, алтари и самое дворянство; не от дворянства шел также и тот по существу творческий и вреднейший дух смирения, терпения и непротивления, который великий был помощником всех палачей в борьбе самого крестьянства.

Максим Горький так же точно знает о себе огромный позднеисторический сдвиг в истории нашей страны.

Буржуазия пришла, она утвердилась как доминирующий класс, прав-

дя, делясь властью с дворянскими зубрами. Но то были уже капитализированные дворяне, — те самые, о первых годах которых с презрением говорил Дюластой еще в «Анне Карениной».

В общем денежный мешок надел на страну окончательно. Но он только в известной доле выполнял свою, хотя бы относительно культурно-хозяйственную роль. Он был хищен и силоват. Конечно, он создавал кое-что, но он еще больше разорял.

Исторический опыт других стран и собственный инстинкт подсказывали ему, что модное европейское платье парламентаризма, в то время так довлеющее на плечах заграничной крупной буржуазии, ему не под стать. И хотя сытый русский капитализм и рычал иногда что-то не совсем членораздельное насчет конституции, крепче всего держался он все-таки за городового и попа.

И всё же этот капитализм, утнетавший страну и своим развитием, и своей недоразвитостью, был глубоко болен. Он тосковал. Его мучили страшные предчувствия. Он был полон страха и раздвоения. Он имел своих хитрецов, своих насильников и своих неудачников, но все они уже носили на своем лице печать осуждения. Не на радость и не на долгую жизнь родился этот богатырь в золотом вооружении и с дряблым сердцем.

Конечно, дальнейший рост капитала продолжал мучительно давить на деревню. Но не тот спон, который слышен был с этой стороны, наполнил своим дыханием новый звучный художественный орган, разнообразные, певучие трубы молодого Горького.

По его социальному положению ему ближе была застойная, болотная, безумно замученная, полная стародавней рутины и пестрящая несказанными чудачками среда городского мещанства.

С нею начал Горький. Одну из самых странных разновидностей ее — босиков — взял он потом за свой объект и, наконец, пришел к пролетариату.

Но, прислушиваясь к музыке Горького с самого начала, мы можем лишь со смехом отвергнуть поверхностные, позволю себе сказать, глупенькие теоретические домыслы, что Горький — мещанский писатель.

Идя по исполинским стопам Владимира Ильича, мы можем и тут сказать: не от мещанства у Горького некротимая, бурная, яркоцветная радость жизни, которая пробилась у него пламенем с первых строк его произведений.

Не от мещанства беспощадная суровость негодования на господствующее зло; не от мещанства крепкая вера в человека, в его могучую культуру, в его грядущую победу; не от мещанства соколиный призыв к отваге и буревестничий клич о приближающейся революции. Все это не от мещанства, — все это от пролетариата.

Социальный сдвиг, породивший Толстого и который можно определить как ломку старой Руси стремительным наступлением капиталистической промышленности, был сдвигом, так сказать, односторонним и безысходным.

Толстой идеологически бежал из своего осужденного историей класса к крестьянству. Но и у крестьянства не было никакого выхода. Только гораздо позднее мог быть найден выход для крестьянской бедноты, и указать ему этот выход мог только победоносный пролетариат.

Сам пролетариат для Толстого, можно сказать, не существовал. Революционно-демократические представители передового крестьянства с их великим вождем Чернышевским рисовались Толстому лишь где-то в туманной дали, как неясные, но крайне несимпатичные силуэты. Для него они были детьми того же дьявольского города, безумцами, которые хотят, отвечая насилием на насилие, еще более увеличить адскую смуту наступающей джедцилизации и которые тщатся облагородить простой народ грубыми обещаниями грабежа, дележа и фальшивого плотского благополучия.

Сдвиг, породивший Максима Горького, был, напротив, двойственен и нес с собою выход.

Хотя капитал и навалился на страну чугуной тяжестью, но в то же время его глыба, как мы уже сказали, давала трещины, свидетельствующие о его недолговечности. Даже в литературе торжество капитализма отразилось не столько победными песнями, сколько каким-то оханьем и скрипением, а прямые бытописатели капитала в роде небездарного и довольно зоркого Боборыкина так сразу и начали описывать капиталистический инвентарь с изъянов, страхов и внутренних сомнений.

Разве не курьезно, что в русской литературе просто трудно найти писателя, скольконибудь именитого, которого можно было бы назвать бардом капитализма? Попытки Перверзева посадить на это место Гончарова кажутся мне крайне неудачными.

Зато капитализм имел свою пролетарскую подкладку, на которую история потом должна была перелицевать человеческое общество.

Правда, то, что бросилось главному литературному выразителю той эпохи — Максиму Горькому, — в глаза, прежде всего, была другая изнанка капитализма. Как мы уже сказали, нестройный, жалкий вой страдания мещанского люда, по костям которого катилась капиталистическая колесница, так же как по костям крестьян, этот вой был первым диким стихийным диссонансом, из которого родился грозный аккорд горьковского гнева.

Да, Горький, прежде всего, шел литературу в сапогах и косоворотке чахоточный и в то же время могучий, хлебнувший чашу горя и в то же время жаждущий счастья, шел чтобы здесь в бельэтаже, в журналах почти салонных по сравнению с его родным подвалом, рассказать, не скрывая, страшную правду о «кротах», об их слепой, грязной, жуткой жизни. В этом было великое адвокатство Горького, в этом была его прокурорская речь. Этим определялся его колючий, едкий, беспощадный реализм.

Но, как Толстой, описывая тяжелую участь деревни, хотел, кроме того, быть ее учителем, хотел найти в ней какую-то правду и провозгласить ее, хотел указать путь спасения, так и Горький.

Горький осудил своего Луку («Недне»), как человека, который утешает страдающих людей, торопливо подсовывая им в рот ту или другую наркотическую соску жи, Горький не хотел лгать беднякам которых чувств

вал своими братьями как «Чиж, котый лгал». Живое утешение, «возвышающий обман», которые порою просились под его перо, он отбрасывал в своей суровой честности. В этой честности, в этой мужественности уже сказывалось еле сознательно для самого Горького в первые годы его деятельности приближение новой музыки: марша наступающих пролетарских батальонов.

Кто знает, если бы в воздухе уже не пахло весной и революцией, как раз вследствие роста числа и сознательности рабочих, не сделался ли бы Горький жертвой самого мрачного пессимизма? Мы ведь знаем, что подмогший народнический идеализм его не удовлетворял. И не звучит ли избранный им псевдоним — Горький — как угроза пессимистической проповеди?

Одного только не могло случиться с Горьким. Как ни много всякой лампадной копоти и всяких чудаческих домыслов религиозного порядка накопилось в мещанских подвалах, где протекала часть его жизни, он усвоил довольно быстро некоторый иммунитет против «боженки» во всех его разновидностях и дозах.

Гораздо скорее можно представить себе Горького пророком мрачного отчаяния, проклинающим незадачливое человечество, чем святым, аля Толстой с венчиком преподобности над косматой головой и с благословляющей дланью.

Дело, однако, в том, что Горький, который своим глухотатым басом стал рассказывать русскому широкому читателю страшные вещи про подлинную жизнь бедноты, доводя иногда свой рассказ до невыносимой интенсивности, не показывая этому читателю горьким.

Почему?

Потому что у Горького были полные карманы золотых и ало-лазоревых картинок, сказок, полных несколько наивной романтики, но и несомненного героизма. И даже в великолепном, сделавшем автора знаменитым и таком реалистическом «Челкаше» чубатая орлиная голова героя, его бронзовая голая грудь и «мохмотья» освещены этим золотом, багрянцем и лазурью высокого человеческого достоинства, звонкого, как труба протеста живописной героики.

Сказачное оперение Горький скоро отбросил, но героический протест все больше сливался с правдой жизни, и так создались горьковские аккорды, горьковская гармония, горьковская симфония.

Героического протеста, призыва к озаренной надеждой борьбе Лев Толстой не мог почерпнуть ни у бар и барынь своего антуража, ни у мужиков и баб яснополянской деревни.

И никто нигде в страшной черной России, никто из ее художников не мог его ниоткуда почерпнуть. Только слабым обещанием будущего стоят интеллигентские романы 60-х годов вокруг великого «Что делать?» — больше как памятники предчувствия, чем как подлинные призывы.

Конечно, автором произведений, наполняющих почти 3 десятка томов и называющихся «Собранием сочинений Максима Горького», был именно наш дорогой, хорошо нам знакомый друг Алексей Максимович Пешков.

Но те огненные чернила, которыми написаны многие и многие из этих страниц, не мог он найти даже в собственном сердце. Он писал «живой водой». Черпал он ее, сам, быть может, того не сознавая, из набегающего прибора революции.

Вот почему за большой, энергичной, дорогой нам фигурой Алексея Максимовича Пешкова высится для нас еще соавтор, исполинская фигура пролетария, ласково положившая свою могучую руку на плечо человека, который стал его глаголом.

Толстой, несомненно, любил природу. И даже очень! Гораздо больше, чем средний человек,—недаром он так чудесно умел входить в психологию животного. Всеми недрама своего существа, всеми органами ощущения, всеми порами кожи воспринимал он природу. Неутомимый пешеход, наездник до 80 лет, долгое время страстный охотник, житель по преимуществу деревни. Толстой в очень сильной мере—человек природы.

Только такой человек мог создать законченный образ Ерощки. И можно ли забыть образ маленького великого старика, колдующего у берега моря, каким нам написал его тот же Горький?

К этому надо прибавить ненависть к городу. Сколько этой презрительной ненависти вложено в знаменитое начало одного из романов о том, как люди булыжниками забили живую землю и как она все-таки сквозь камень дала зеленые ростки.

И все-таки Толстой-писатель, Толстой-идеолог не любит природу: он не только к ней своеобразно равнодушен, он ее боится, он ее почти ненавидит.

Он готов, на худой конец, признать мать-землю, поскольку ее можно пахать, а потом жать колосья, ради скудного хлеба насущного, но и только. Вель что такое природа? Это лучезарность дня и очарование ночи? Эти цветы, блестящие красками и одурманивающие ароматом? Эта игра стихийных сил, которая зовет жить, бороться, наслаждаться, плодиться, как живет, наслаждается, борется, плодится весь мир животных, только мудрее, т.е. сильнее и сознательнее? Что такое эта природа? Это—соблазн! Это—мираж! Трудно поверить, чтобы это создал бог. Бог только по неисповедимым причинам бросил, как неисчислимый дождь искр, посев наших душ в этот пыльный и злой мир и дал этим душам задачу; не соблазниться, пребыть в чистоте и вернуться к нему—первоочагу духовного пламени, очистившись от всей скверны соприкосновения с природой.

Таково даже не столько крестьянское, сколько азиатское, из Азии крестьянству навязанное отношение к природе, к которому Толстой, вопреки своей пламенной чувственности и своему восприимчивому гению, старался прильнуть, к которому он звал всех других.

Вот почему так скуп Толстой-пейзажист. Если вы и найдете у него несколько полотен природы, то они взяты как бы невзначай, нехотя.

Нёмногие исключения лишь подтверждают установленное нами правило.

Теперь припомните природу Горького!

Хоть она иногда и плачет, и злится, и кусает человека, но не это запомнится вам с первого же раза, а необычайная роскошь и огромное, несравненное, я думаю, даже несмотря на Тургенева, единственное в нашей литературе разнообразие пейзажа.

Горький поистине великий пейзажист, а главное страстный любитель пейзажа. Он почти не может подойти к человеку, начать рассказ, или главу романа, без того, чтобы не глянуть на небо, не посмотреть, что делают солнце, луна и звезды и вся несказанная палитра небесного свода с изменчивым волшебством облаков.

Сколько у Горького моря, сколько у него гор, лесов, степей, сколько у него маленьких садиков, закоулков

природы. Какие необыкновенные слова придумывает он для нее. Он работает над нею, как объективный живописец, то как какой-нибудь Монэ, разлагающий перед вами ее краски своим изумительным аналитическим глазом и своим, вероятно, богачейшим в нашей литературе словарем, то, наоборот, как синтетик, который дает общие силуэты и одной кованой фразой определяет для вас целую панораму. Но он работает не только как живописец. Он работает над природой, как поэт. Что за дело, что мы не верим будто закат может быть грустным, будто лес может шептать задумчиво, будто море может смеяться! Они все-таки могут все это; только когда человек делается совершенным сухарем (а он им никогда не делается).

перестанет он видеть в явлениях природы в великолепно уточненном и увеличенном виде игру своих собственных чувств.

И Горький с огромным мастерством пользуется тончайшим средством человеческих настроений и явлений природы, их иногда едва уловимым ас-сонансом или контрастом, чтобы создавать своим человеческим драмам величественный и изысканный аккомпанемент оркестра окружающей нас природной среды.

Кто не совсем поверит этому, подумает, что я преувеличиваю хвалу Горькому—живописцу и поэту природы, пусть просто возьмет любой том «Жизнь Клима Самгина» и перечтет там страницы, создающие фон природы для человеческих переживаний.

Но почему же Горький уделяет так много места природе? И свидетельствует ли это о том, что он—пролетарский писатель? Много ли природы видит рабочий? Не отгорожен ли он от нее каменными стенами завода? Не изгнана ли она из рабочей казармы, из рабочего поселка?

Пролетарский писатель Горький любит природу как раз потому, почему ее не любит, боится любить старокрестьянский писатель Толстой.

Мы уже сказали: природа зовет жить, бороться, наслаждаться, плодиться, только мудрее, т.е. сильнее и сознательнее, чем это делают звери.

По-толстовки, по-христиански это—соблазн, сеть сатанинская. И одинаково как феодально-помещичий, так и капиталистический порялок во всем мире доказали, что действительно этот принцип жизни и борьбы, какое бы творчество он ни развил, какими бы науками ни вооружался, какими бы искусствами ни изукрасился, приводит только к греху и мерзости, к моральной гибели одних как насильников, других как измученных.

Но тут то пролетариат и не согласен со всей историей, тут то и хочет он переделать всю жизненную дорогу человечества.

Пролетариат говорит: да, мать-природа, наша велика, прекрасная, безжалостная и слепая мать, ты—права: твой мир, твоя жизнь—благо. Они следуются полноценным, превосходящим все чаяния благом в руках мудрого объединенного человечества, в руках всечеловеческой коммуны, которую мы завоеуем, которую мы построим,—чего бы это ни стоило. И мы знаем, как ее завоевать и как построить. А тогда, каким великим раем будешь ты, природа, для нового, прекрасного человека, каким он должен стать. Вот почему мы любим тебя, природа.

— Вот почему и я ее люблю,—говорит Горький.

V

Такая же разница имеется в отношении Горького и Толстого к человеку. Конечно, Толстой любит человека. Любовь к человеку есть даже главная заповедь всего его учения. Но это какая то натужная любовь. Любить в человеке надо не всего его, а только скрывающуюся в нем «искру божью». И в себе также надо любить только эту «искру»: только свою способность верить и любить. Толстой в этом отношении целиком стоит на почве некоторых азиатских гностических, будомильских и т. п. учений.

В человеке для Толстого два чела. века: один—от бога, другой—от дьявола. Тот, у которого, может быть, и часто бывает такое «красивое тело, прославленное скульптурой, тот, в груди которого развертываются нежнейшие чувства и стремительные страсти, высказываемые музыкой, тот, в голове которого находится изумительнейший аппарат мозга, создавший чудеса науки, тот, которому хочется счастья для себя и для других, разумя под счастьем полноту удовлетворения все растущих потребностей богатого организма и человеческого коллектива, тот человек—от дьявола, его Толстой не любит, боится: он его отбросил потому, что видит его жертвой ужасного общественного строя и в то же время виновником этого строя; потому, что в будущем он ничего хорошего для этого человека не видит, а только усиление жадного угнетения капитализма, государства и церкви и бесполезные кровавые революции.

Поэтому возлюбил Толстой другого человека: тихонького, смиренного, подобного ангелочку, бесстрастного, бесполого, добренького, всегда со слезящими глазами, благодарящего боженьку.

Уже на земле этот человек, этот,

так сказать, Абель может сбросить с себя все каинитское великолепие, всю культуру, поделить между собою землю на маленькие огородики, сажать там капусту, есть ее, удобрять свой огородик и опять сажать, и таким образом питаюсь и во всем благостно самообслуживаясь, совсем не нуждаюсь даже в соседе своем, разве для душевспасительных разговоров или совместной молитвы господу. Постепенно, по Толстому, прекратятся между этими дурачками (он их всерьез и ласково так называл: см. сказку о их царстве) браки; род человеческий блаженно вымрет, зане выполнит свое предназначение и чистеньким от всех страстей страшной материи вернется к первоисточнику духа.

Конечно, такая любовь к человеку страшнее всякой ненависти, и мы, коммунисты, считаем толстовство одной из разновидностей старых азиатских ядов, убивающих человеческую волю.

Гете признавался, что знак креста ему непаивстен. Так думали многие лучшие представители молодой буржуазии. Мы еще крепче и последовательнее ненавидим и отвергаем христианство и все учения, его подготовившие, и всякую дистилляцию из него, которой до сего дня занимаются упадочники всякого колера.

Горький же любит человека целиком. Это Горький устами Сатина говорит: «Человек—это звучит гордо!»

Горький знает, какие бывают злые и какие подленькие люди, и их он ненавидит. Но он знает, что это—недоросли, что это—уроды, что это—парашь на прекрасном древе человеческой жизни.

Больше того, он знает, что настоящих великих людей, чистых, смелых и мудрых еще очень мало, что почти нет беспримесно прекрасных людей.

Но это не мешает ему любить человека крепкой влюбленностью и верить в него твердой верой знания.

И тут мы переходим к вопросу об отношении Толстого и Горького к прогрессу.

Здесь многое роднит обоих писателей. Толстой выстрадал отвращение к патриотизму, к престолом, к знати, ко всему феодальному прошлому и его остаткам.

И Горький, можно сказать, родился с этим жгучим отвращением.

Толстой великой ненавистью возненавидел капитал и не дал себя подкупить блеском европейской культуры, но, посетив Европу, вернулся полный гнева, четко заметив всю черную неправду, лежащую под поверхностью, отделанной под мрамор и задрапированной гобеленами.

И Горький стал заклятым врагом капитала с самых молодых лет. И его тоже не обманул американский «желтый дьявол», и в лицо буржуазной «прекрасной Франции» он плюнул желчью и кровью.

Толстой зорко видел всякое малодушие, Горькое пьнтство, мизерное лукавство, научно бесчеловечность разного мелкого люда, в том числе в значительной степени и деревни.

И Горький с ужаснувшимся любопытством любит раскапывать окуроченные норы и показывать содержащуюся в них скверну.

Но тем не менее Толстой именно здесь останавливался: смыс со старокрестьянского лика то, что казалось ему наносным прахом, он реставрировал благообразие отцов и дедов, святых Акимов, красноречивых своим «тае-тае», полусказочных патриархов, поздравляющих бедное человечество «зерном с куриное яйцо».

На мифе о праведном крестьянстве, на мифе о том, что в каждом мужике сидит праведник, так и норовящий выскочить из него наружу, Толстой строил для человечества свой мистический капустно-небесный рай.

И Горький, было, остановился на мелком человечке, но, как самородков в золотоносной россыпи, искал он среди них крупных и гордых экземпляров. Ему казалось, что он находится там, куда как раз вода жизни смыла казавшееся наиболее непригодным для нее, там, на дне, среди отверженных, там, среди людей-волков, безудержных протестантов, личностей, не связанных собственностью и моралью, богатырей антиобщественности, инстинктивных анархистов.

Но на этой как нельзя более анти-толстовской стадии развития Горький задержался ненадолго.

Он увидел, как его искатель Матвей, обещающее зарево завода, он пошел на маяк огнедышащей заводской трубы.

Произошло естественное слияние Горького с пролетариатом, с его авангардом—с большевиками.

В литературе этот огромный факт отразился многими блестящими произведениями, среди которых высятся «Враги», «Мать» и «Жизнь Клима Самгина».

Отсюда, конечно, и совершенно разное отношение Толстого и Горького к основным культурным ценностям человечества.

Конечно, в инвективах Толстого против буржуазной науки и буржуазного искусства есть много правды, но вот уж кто поистине выплескивает

ребенка вместе с грязной водой из ванны. А ребенок этот, как ни скверно воспитывали его господствующие классы, все-таки крепкий и жизнеспособный.

Если люди старого уклада, к которым присоединился Толстой, подозрительно относятся к науке и искусству, пренебрегают техникой, то пролетариат восторженно их приветствует и усыновляет. Он знает, что только при социализме может выдаться наука, может расцвести искусство во всю их мощь.

Это знает и Горький; я думаю, очень мало на свете есть людей, которые с таким радостным увлечением относились бы к уже осуществленным достижениям науки и искусства и с таким трепетным биением сердца ждали бы их новых чудес.

VII

С огромной яркостью сказался в Горьком пролетарский писатель—в его публицистике.

Мы не будем разбираться здесь в ней. Она занимает почетное место в произведениях писателя. Она является неотъемлемой частью 40-летнего массива его творчества.

В силуэте этого горного кряжа она высится, как сторожевая башня и как защитный бастион.

Публицист-Горький даже из Западной Европы, главным образом, взял на себя обязанность отражать полные предательства удары по коммунистическому делу, наносимые страхом и ненавистью.

Часто Горький не отвечает на публичный, даже официальный удар, но на мелкий укус какого-нибудь из многочисленных своих ядовитых корреспондентов; они тучей гнуса (таежное название) носятся над его головой.

Его ответы обыкновенно морально до смерти прихлопывают запросчика.

В общем значительная часть публицистики Горького может быть собрана во внушительный и веский по богатству аргументов том под названием «На страже СССР».

VIII

Но не только «гнус» вертится над головой Горького и жужжит ему в уши.

До чуткого слуха писателя доходят тысячи и тысячи вестей. Со вниманием и зоркостью, поистине необычайными, читает он книги, журналы, газеты, слушает беседы и располагает невероятной информацией о том, что делается в Союзе, да и на всем белом свете.

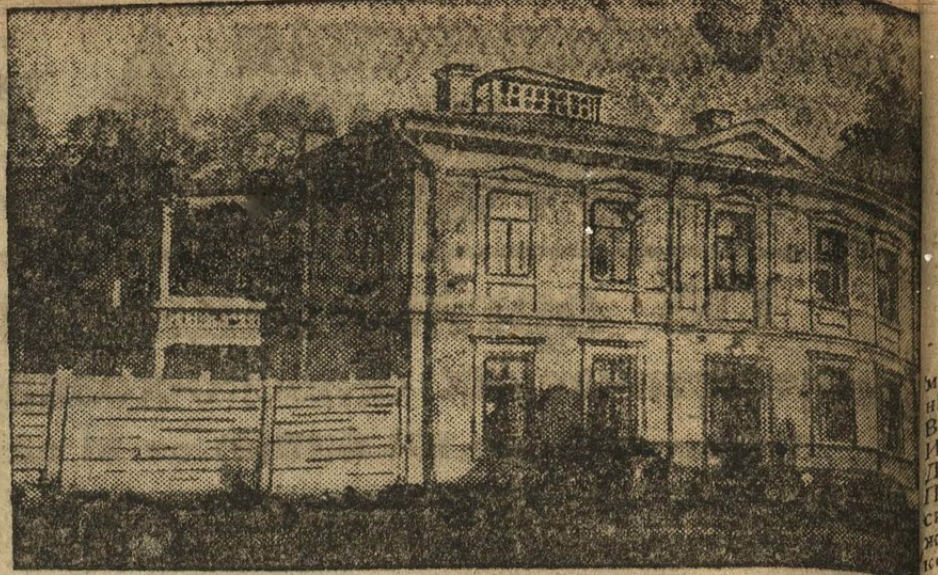
«Свет» этот действительно стал довольно белым, за исключением островов наших красных масс.

Этому заграничному «белому» свету многим не поможешь, хотя упускать его из виду ни на минуту нельзя. Но вести, которые доходят из Союза, те не просто складываются в огромные и усовершенствованные музеи горьковской образованности. Они должны служить для дела.

Тут Горький должен помочь. Конечно ценна его помощь, например, как собирателя положительных показателей нашей стройки («Наши достижения»).

Но настоящая его обязанность лежит не здесь.

Он это знает.



Дом быв. Лемке, на Канатной улице, в котором жил М. Горький в 1902 г. В квартире этого дома было положено начало большому культурному — постройке в Н.-Новгороде Народного дома.

Нам нужна очень большая литература. Нам нужна даже великая литература. Такой у нас нет.

Он это знает.

Привлечение старых писателей, среди которых имеется немало талантливых людей и опытных мастеров, переброска мостов к ним, преодоление в них тех или иных внутренних препятствий, мешающих им понять и принять наше великое время, это — конечно, дело большое. В этом конечно Горький может сыграть огромную роль.

Но не в этом наша сила.

Наша сила вообще не во вчерашнем дне, а в завтрашнем. Наша основная сила — молодая поросль. Не забывая ни на минуту повседневной работы и собственного творчества, мы должны много, много внимания отдать нашей прекрасной молодежи.

Партия обеими руками черпает из нее необходимые кадры.

Вполне осознано, что из нее также надо черпать кадры художников, в том числе художников слова. Вполне осознано, что это абсолютно необходимый отряд нашей советской творческой армии.

С тех пор, как покойный Валерий Брюсов правильно установил, что, кроме таланта, художнику слова так же, как всякому художнику, необходима большая культурная и техническая выучка, — для этого рода учебы постоянно делается кое-что. Но как-то нерешительно, не щедро, не бодро.

Имеется много кружков литературной самодеятельности, но дело там движется, как по всему, видно, недостаточно быстро.

Главным руководителем всего этого движения был штаб ВОАПП или РАПП. Конечно, он проделывал немалую работу, он свирепо защищал марксистско-ленинские границы от чуждых элементов, порою однако до того свирепо, что из-за них наш порог не решались переступить и полезные гости. Он пытался уничтожить плевелы в саду советской словесности. Но мало сажал сам целебных трав, душистых цветов и фруктовых деревьев. Он был в значительной степени поражен страхом перед всяким новым словом. Считалось ересью сказать, что в области литературоведения, в марксизма-ленинизма есть только очень прочный фундамент и что здесь нужна огромная творческая работа. Каким-то нехорошим глумлением встречались призывы не бояться ошибок, ибо без ошибок нельзя строить новое в науке, если ты только не представляешь собою редкий тип закаленного вождя или гениально одаренного человека. По тому, с какой уверенностью адепты РАПП брались строить без ошибок нашу литературу и нашу критику, можно было подумать, что это все сплошь гениально одаренные вожди. На самом же деле в недавнее время наши критики и литературоведы сами себя так напугали, что нельзя было найти автора, который согласился бы написать статью на сколько-нибудь ответственную тему.

Что было особенно огорчительно, это — недостаточное внимание со стороны молодых руководителей пролетарской литературы к великим заветам Владимира Ильича, относительно учебы у огромной культуры прошлого.

Тут есть тонкая диалектика: учиться надо критически, значит надо и его литературного творчества.

учиться и критиковать! Начать учиться без критики, с недостаточной критикой — попадешь в эпитимейные стерам чужого класса. Начнешь критиковать, не учась, и выйдешь из-за воева не стопроцентный пролетарский вундеркинд, а щедринское «Неуважай-Корыто».

Сколько раз мне как редактору энциклопедий, журналов и полных курсов сочинений приходилось наткнуться на «неуважай-корытную» критику. И когда попытаешься такое молчаливо иногда очень искреннее и симпатичное, обещающее «корыто» пробить к уважению какого-нибудь великого писателя прошлого, так он тебе достаточно прозрачно намекнет насчет вбок некоторых «маститых» больших ков.

Вот с этим надо покончить.

Надо суметь, наконец, понять, что это надо учиться старому мастеру, как это надо разбираться в сложных ценностях с пониманием, с уважением, что несколько не отрицает, а предполагает критику.

И это отнюдь не относится только к литературным и другим художественным образцам прошлого; это относится к великой философии прошлого, это особенно относится к науке. Молодому писателю ничто не должно быть чуждо, он должен стремиться к широчайшему образованию, чтобы вежество не стесняло его, когда захочет по-новому отразить жизнь для сотен тысяч читателей.

Говоря о молодых писателях, давнем письме к Ромен Роллану Горький сказал: «Культуры им нехватит».

Может быть, читатель этой статьи скажет: «Все это последнее расхождение автора, пожалуй, и верно, но много отношения к теме не имеет».

Он будет неправ.

Во-первых, все то, что я напишу о необходимости культуры для пишущей молодежи, это — почти всем пересказ того, что я читал и слышал у Горького.

Во-вторых, тут можно ждать от Горького большой помощи. Горького большая организационная работа может не только убедить нашу молодежь в необходимости культуры, но и в словах она сама это повторяет, на деле этого хочет, только не знает, как взяться.

И не единолично только.

Даже Горький — один в полновластии, а во главе известного ряда подходящих для этого людей, которые должны развернуть план культурного продвижения пишущего молодняка к той великой социалистической литературе, к которой мы все стремимся.

IX

Горький наверно даст нам и другие ценные томы «Самгина» и другие произведения, раскрашенные художественными изведениями.

Он наверно еще много раз помечет и щитом на публицистическом охроне наших застав.

Таковы наши пожелания великому писателю в день 40-летнего юбилея его литературного творчества.